

«Европеизация», «вестернизация» и механизмы адаптации западных нововведений в России имперского периода

Е.В. Алексеева, Д.А. Редин, М.-П. Рей

Аннотация. В статье предлагается новая интерпретация проблемы европейского культурного влияния на Россию имперского периода. Развивая культурно-цивилизационный подход, предложенный польским социологом П. Штомпкой для анализа переходного состояния в посткоммунистических обществах, авторы рассматривают возможность использования этого подхода для понимания транзитных государств других исторических эпох, в частности, для интерпретации исторического перехода от Средневековья к Новому времени. Исходя из этого, Россия представляется страной, всегда принадлежавшей к европейскому культурному кругу, но вступившей в цивилизационный диссонанс с рядом стран Западной Европы, которые раньше других совершили «модерный скачок». Из-за ряда причин (не в последнюю очередь политического характера) в XV—XVI вв. в интеллектуальном дискурсе западных стран сформировались два взаимосвязанных стереотипа: о единой европейской идентичности и неевропейском характере России. Эти стереотипы, в силу ряда обстоятельств, были приняты российской политической элитой петровской эпохи, что, в свою очередь, создало новый миф о «царе-демиурге», который привел варварскую Россию в лоно цивилизованных европейских держав. На практике, по мнению авторов, содержание процесса включения России в сферу «цивилизованных» европейских стран определялось ее преобразованием из традиционной средневековой европейской страны

Алексеева Елена Вениаминовна — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, старший научный сотрудник Лаборатории эдиционной археологии УрФУ. E-mail: alekseeva167@mail.ru; *Редин Дмитрий Алексеевич* — доктор исторических наук, заместитель директора ИИиА УрО РАН, заведующий Лабораторией эдиционной археологии УрФУ. E-mail: volot@mail.ru; *Рей Мари-Пьер* — профессор русской и советской истории, директор научного Центра истории славян Университета Париж-1 Пантеон-Сорбонна, научный руководитель Лаборатории эдиционной археологии УрФУ. E-mail: mariepierre.rey@gmail.com.

Alekseeva Elena V. — doctor of historical sciences, leading researcher of the Institute of history and archeology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, senior researcher of the Laboratory for Studying Primary Sources, Ural Federal University. E-mail: alekseeva167@mail.ru; *Redin Dmitry A.* — doctor of historical sciences, deputy director of the Institute of History and Archeology, head of the Laboratory for Studying Primary Sources, UFU. E-mail: volot@mail.ru; *Rey Mari-Pierre* — professor of Russian and soviet history, scientific director of the Center for the History of Slavs University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne, scientific director of the Laboratory for Studying Primary Sources, UFU. mariepierre.rey@gmail.com.

в европейскую державу современного типа. В связи с этим, термин «европеизация» не имеет реальной основы по отношению к России, поскольку речь шла не о включении неевропейской страны в европейское культурное пространство, а лишь о модернизации одной из стран европейской периферии. Сквозь эту призму в статье рассматривается процесс восприятия западных нововведений, которые, вопреки установившейся терминологии, далеко не всегда могут быть определены как «европейские инновации». Авторы предлагают свою собственную схему механизма превращения новшеств в инновации, отмечая многоступенчатый характер таких трансформаций (диффузионных волн) и обращая внимание на особую роль иерархически организованных элитных групп — медиаторов, трансляторов и акторов инновационного процесса.

Ключевые слова: европеизация, вестернизация, Россия, инновации, адаптация инноваций, диффузионные волны, элиты, «феномен Башмачкина».

Abstract. The article proposes the new interpretation of the problem of European cultural influence on Russia of the imperial period. By developing the cultural-civilizational approach offered by Polish sociologist P. Sztompka for analysis of transition state in postcommunist societies, the authors consider the use of this approach possible for comprehension of transit states of other historical epochs, in particular, for interpretation of historical transition from the Middle Ages to Modern period. Proceeding from this, Russia is presented as a country, which always belonged to European cultural circle, but entered into the civilizational dissonance with the number of West European countries, which earlier than others accomplished the “modern leap”. Due to the number of reasons (not least of a political nature) in the XV–XVI centuries the two interrelated stereotypes were formed in the intellectual discourse of the Western countries: about the unified European identity and non-European character of Russia. These stereotypes, due to circumstances, were accepted by Russian political elite of Petrine era, that, in its turn, created a new myth about the “tsar-demiurge”, who led barbaric Russia to the bosom of civilized European powers. In practice, according to authors’ opinion, the content of the process of including Russia to the sphere of “civilized” European countries was determined by its transformation from traditional, medieval European country to the European power of Modern Age. In this regard, the term “Europeanization” has no real basis in relation to Russia, because this question is not about including of non-European country to the European cultural space, but only about modernization of one of the countries of European periphery. Through the prism the article considers the process of perception of western novelties, which, contrary to established terminology, by no means always may be defined as “European innovations”. The authors propose their own scheme of mechanism of novelties’ turning to innovations, note the multistage character of such transformations (diffusion waves) and pay attention to the special role of hierarchically organized elite groups — mediators, translators and actors of innovations, in this process.

Key words: europeanization, westernization, Russia, innovations, adaptation of innovations, diffusion waves, elites, “phenomenon of Bashmachkin”.

Поиск идентичности России, определение ее места и роли в мировом сообществе, разработка сценариев ее развития в сложной системе современных международных отношений остается насущной государственной и общественной задачей. Историческая наука, обладающая огромным концептуальным и дидактическим потенциалом, способна оказать существенное влияние на формирование современной культурно-политической идентичности России с помощью осмысления ее прошлого, особенно относительно недавнего. Актуализация двухвекового опыта развития имперской России, понимание причин успехов и неудач в процессе ее реинтеграции в европейское пространство, основанные на современном теоретико-методологическом уровне исторического знания, дают фундамент для разработки стратегии реагирования на современные вызовы и угрозы в динамично меняющемся мире. Споры о европейской идентичности России (является ли она неотъемлемой частью европейской цивилизации или чужеродной структурой, волею обстоятельств игравшей одну из ключевых ролей на мировой арене как мнимая европейская держава) разгорелись сей-

час с особенной силой. Тем важнее, на фоне политических дебатов, пропагандистских выпадов, реанимации давних стереотипов о дикой, непредсказуемой и опасной для «цивилизованного» мира России спокойное, выверенное научное исследование, основанное на профессиональных подходах и нацеленное на активный межкультурный диалог в интернациональном сообществе историков-русистов.

«Россия есть европейская держава» — без тени сомнения провозглашал екатерининский «Наказ» Уложенной комиссии более двух с половиной веков назад. Однако европейский дискурс всегда был присущ русской политической элите и сформировался много раньше эпохи Просвещения. Как он менялся; почему возник вопрос о принадлежности России европейскому культурному кругу; что такое европейскость — миф или реальность; каким образом происходили сложные процессы социокультурных и политических взаимодействий Востока и Запада Европы — на эти и многие другие вопросы можно найти ответы, анализируя историческое наследие России имперского периода¹. Крайне важно при этом найти правильные подходы к интерпретации исторического материала, равно воздерживаясь от искушений умозрительных «теоретических» конструирований и соблазнов создания несвязанных между собой, интровертных и дискретных «исторических миниатюр». Стремясь к такому концептуально-методологическому консенсусу и исходя из понимания ключевой роли «человеческого» фактора в историческом процессе, мы сосредоточили свое внимание на изучении роли социально-политических элит России в процессе трансфера и адаптации западноевропейских ценностей, нововведений, ранее, в значительной степени, чуждых русскому обществу.

По общепринятому определению, инновации понимаются как внедренные новшества, обеспечивающие качественное повышение эффективности действующих систем — независимо от того, о каких системах (социальных, политических, экономических и т.п.) идет речь. В русский язык этот термин попал достаточно поздно, в 1870—1880-е гг., при посредстве французского языка и, судя по всему, первоначально употреблялся исключительно в применении к коммерческому, экономическому контексту, порой, с ироническим оттенком². Такая направленность заимствования понятия — из Западной Европы в Россию — сама по себе знаменательна, ведь слова приходят вместе с явлениями, маркируя их. На протяжении трех минувших веков (с некоторыми перерывами) камертоном для российской партии в мировом оркестре звучала именно Европа, страны Запада. «Возвращение в Европу», которое переживала Россия в течение имперского периода своей истории (хотя начало этого процесса восходит, разумеется, к более раннему рубежу), характеризовалось преобразованием общества по западному образцу. Этот процесс, который в литературе принято именовать модернизационным, принявший форму европеизации или вестернизации, являлся, по своей сути, инновационным процессом, в ходе которого происходили преодоление и замена традиционных ценностей, препятствовавших социальным изменениям и экономическому росту, на новые — социальные, технологические, культурные. Вследствие модернизации качественно менялся и тип российского общества.

Теоретическое осмысление российских модернизаций многократно и в разных ракурсах подвергалось специальному анализу. Для построения верифицированной реконструкции процесса адаптации европейских инноваций в среде российской элиты имперского периода нам необходимо решить несколько вопросов, связанных с самим феноменом европейской инновации. Что он являл собой с точки зрения конкретной исторической пространственно-временной ситуации? Являлись ли любые европейские новшества, привносимые в русскую (российскую) действительность того или иного периода инновационными? Возможно ли конструирование некоей классификации инноваций на основе, например, их значимости для качественных изменений социокультурных реалий имперской России?

Размышляя о европейском влиянии, многие, как правило, исходят из представления о некоей единой Европе, европейском гомогенном социокультурном феномене, европейской цивилизации, наконец, о некоей «европейскости», под воздействием которых с определенного исторического рубежа менялась Россия — страна, таким образом, априори неевропейская. Думается, что подобное противопоставление изначально некорректно. Во-первых, потому, что говорить о Европе Средневековья как о гомогенном пространстве возможно лишь в типологическом смысле, на уровне самого общего культурно-цивилизационного единства, едва ли не главным маркером которого будет выступать принадлежность к христианскому миру. Во-вторых, потому, что именно этот маркер позволял до определенного времени причислять к Европе и Русь. Ни Великая схизма 1054 г., ни экспансия Латинского Запада в сферу территориальных интересов русских земель и княжеств на Северо-Востоке Европы на рубеже XII—XIII вв. не исключали православных династов Руси (а вместе с ними и подвластные им территории) из общехристианского континуума³. Свидетельством тому могут служить многообразные династические связи русских княжеских домов с королевскими домами европейских стран, отнюдь не ограниченных хрестоматийно известными матримонийными успехами Ярослава Мудрого, глубокая включенность русских князей в военно-политические процессы Центральной и Восточной Европы, а также дипломатические контакты светских и церковных властей Запада с русскими князьями, не ставившими под сомнение христианскую принадлежность последних, как и их подданных, но лишь считая их «заблудшими» от «недостатка проповедников» (как, например, в послании папы Гонория III «королям Руси» от 17 января 1227 г. и в других подобных документах⁴), что подпитывалось надеждами на объединение церквей в середине XIII столетия⁵. Реформационные процессы, в этом отношении, нанесли гораздо более тяжелый по своим последствиям урон ощущению единства христианской Европы (как в ментальном, так и в практическом смысле).

Ситуация стала меняться к рубежу XV—XVI веков. Именно в это время Северо-Восточная Русь, обретя свою политическую форму в виде Московского государства и преодолевая изоляцию, связанную с нахождением в сфере ордынского влияния, стала активно выходить на европейскую арену межгосударственных отношений, заявляя свои претензии на роль полноправного участника общеевропейских процессов. Это обстоятельство, с одной стороны, открыло доступ в Мос-

ковию визитерам из ряда европейских стран Запада, а, с другой стороны, поставило перед государями Запада сложный вопрос: как относиться к новому претенденту на участие в европейских делах?

Первоначальные попытки использовать потенциал Московского государства как «младшего партнера» в христианском стане для борьбы с турецкой угрозой или в качестве управляемого союзника в соперничестве за гегемонию в Центральной и Восточной Европе (в первую очередь по инициативе Габсбургов) ⁶ не увенчались успехом и вызвали разочарование, а энергичное наступление России на Польшу и Литву и, особенно, развязывание военных действий в Прибалтике (Ливонская война) просто напугало ⁷. Примечательно, что возвращение Русского государства в европейскую политику или, говоря иначе, актуализация европейского вектора внешней политики России, хронологически совпало с началом поиска европейской идентичности и европейского единства в самих странах Западной Европы, в первую очередь, — странах католического Запада. Формирование европейского дискурса в общественно-политической мысли Запада, стимулированное культурными процессами Ренессанса, включало в себя выработку критериев (от географических до нравственных), с помощью которых можно было бы достаточно четко отделить европейское от неевропейского ⁸.

Для европейцев, посещавших Россию в XV—XVI вв. (в первую очередь, дипломатов и купцов Ганзейского союза и других германских городов и земель, а также англичан), Россия, не знавшая ни Ренессанса, ни гуманистической революции, нравы которой считались весьма ущербными, не являлась частью Европы ⁹. Ведь по мере того, как эпоха Средневековья завершалась, и происходил переход в нововременное интеллектуальное и моральное состояние XVI в., христианский маркер для определения принадлежности к Европе оказывался уже недостаточным. Россия в сознании европейских наблюдателей оказывалась отброшенной на периферию европейской цивилизации, а, может быть, и вовсе за ее пределы. В подтверждение этого замечания можно было бы привести множество примеров, но будет достаточно упомянуть сочинение слывшего знатоком русских дел имперского посла Сигизмунда фон Герберштейна «*Regum moscovitarum commentarii*» 1549 г., которое оказало большое влияние на создание образа закосневшей в варварстве и бескультурье России ¹⁰.

Вторую составляющую, также совершенно негативную, можно охарактеризовать как культурно-политическую. Для многих европейских наблюдателей XVI в. политический режим России (и не только при Иване Грозном) характеризовался как тиранический и репрессивный. В то время, когда в Западной Европе начинало обозначаться некоторое уважение к индивидуальной жизни, Л. Суриус, например, писал по поводу царя: «Он принимал решения об их жизни и имуществе по своей прихоти, без того, чтобы кто-нибудь ему воспротивился; люди убеждали себя, что царь не следует никакой другой воле, кроме воли Божьей, так что если царь ради своей великой свирепости сделал свой народ ожесточенным и диким, то нельзя с полной уверенностью сказать, является ли свирепость этого народа варварством, которое заслуживает подобной тирании, или тирания, от которой он страдает, делает его свирепым» ¹¹.

В правление Ивана Грозного представления о России как о варварской и тиранической стране усилились, в том числе, благодаря сообщениям русских эмигрантов, бежавших от опричного режима и находивших пристанище во Львове или Вильно под сенью Польско-Литовского государства. Большую роль в этом процессе, безусловно, сыграли и западные памфлеты и «летучие листки», живописавшие страшную жестокость и опустошения, совершенные русскими в Ливонии в ходе войны. Они окончательно ухудшили образ русского царя, представлявшегося безжалостным и способным на все чудовищем¹². В силу последнего, к отрицательному и неевропейскому образу России добавилась третья составляющая: возникла идея о том, что эта страна опасна для самих европейцев, что ее надо держать на удалении от Европы и во что бы то ни стало сдерживать ее экспансию на Запад.

В этом контексте стал формироваться тот известный негативный образ Московии как варварской, тиранической, опасной и чуждой для европейских государств страны, который в дальнейшем, под влиянием различных идеологических и политических мотивов, получил развитие в западной историографии¹³. По иронии судьбы, подобное отношение к допетровской России как к стране отсталой и деспотической, пестовалось и российской историографией: досоветской, советской и отчасти сегодняшней.

Как бы ни выглядели Россия и ее государи в глазах европейцев, русская правящая элита сделала европейский выбор. Позднейшие рассуждения евразийцев о русских монархах как наследниках Золотой орды или татарских ханов¹⁴ в этом контексте не имеют оснований. Ни Иван III, ни его преемники никогда не апеллировали к наследию Чингиз-хана, Батыя или, например, крымских Гиреев. Распространенное в литературе утверждение о двояком восприятии на Руси царского титула — не только как императорского, но и как ханского — подвергается ревизии в русской церковной публицистике, по меньшей мере, к рубежу 70-х — 80-х гг. XV века. Уже в «Послании на Угру» епископа Вассиана Рыло было сформулировано и обосновано противопоставление подлинного (христианского) царя нечестивому царю, под которым понимался хан Ахмат, а ханский титул оказался дискредитирован. Когда в середине XVI в. Иван IV покорил Казанское и Астраханское царства, он и его окружение неизменно трактовали это событие как покорение неверных царств христианскому царю¹⁵ (сходным образом средневековые кастильские короли в ходе Реконквисты принимали титулы королей покоренных исламских тайф, одновременно подчеркивая претензии на контроль надо всем Пиренейским полуостровом с помощью титулярной формулы *Imperator Omnis Hispaniae*).

Напротив, публицистические сочинения, появившиеся в России во второй половине XV и в XVI в., ясно демонстрировали другое: развивая (пусть и в своеобразной форме) средневековую идею единства христианского мира, московские книжники, а вместе с ними и великокняжеский (царский) двор — интеллектуальная и политическая элита Московской Руси — видели себя в европейском/христианском обществе. Наиболее ярко это проявилось в сконструированной ими официальной светской политической доктрине, выраженной в «Сказании о князьях Владимирских» и целом комплексе близких и

производных от него текстов. Названная доктрина ясно указывала на то, что русские великие князья и цари, апеллировавшие с ее помощью к христианской и европейской политической традиции, однозначно идентифицировали себя в европейском пространстве задолго до петровских реформ. Их стремление утвердить себя в семье европейских монархов имело очень амбициозный характер, претендовало на лидирующие позиции и было отягчено представлениями об их исключительном превосходстве как носителей и защитников подлинного христианства. Но именно преобладание светских мотивов придавало этой доктрине устойчивость и способность к модификациям, позволив ей пережить, в отличие, например, от концепции «Москва — Третий Рим» и особенно от концепции «Россия — Новый Израиль»¹⁶, кризисы рубежа XVI—XVII столетий и оказаться пригодной для конструирования новых европейски ориентированных политических доктрин и представлений в первой четверти XVIII века¹⁷.

В новейшей научной литературе (и западной, и отечественной) стереотип о домодерной России как деспотии с несвободным и пассивным обществом и рабским менталитетом, по счастью, постепенно начал преодолеваться. Смещение акцентов изучения истории стран Запада и Востока Европы в сторону антропологически ориентированной истории¹⁸ привело к пониманию нескольких важных вещей. Во-первых, тот исторический феномен, который рассматривался традиционной историографией как идеальный типологический европейский образец, есть лишь французский и английский исторический опыт, который не следует отождествлять с общеевропейским, тем более, придавая ему свойства нормативной модели. Во-вторых, различные европейские страны, включая Англию и Францию, испытывали в эпоху Средневековья и раннего Нового времени приблизительно одинаковые проблемы в сфере организации общественных отношений и практик управления¹⁹. В-третьих, допетровская Русь, с этой точки зрения, при всем очевидном своем своеобразии, вовсе не выглядит исключением, а представления о вопиющих различиях Московского государства и других европейских стран, по точному замечанию Нэнси Коллманн, основываются «в большей степени на абстрактных концепциях законности, чем на конкретном анализе практики самодержавия». Напротив, базовое сходство России и других европейских государств восходит, по мнению исследовательницы, в глубь веков и «находится в сфере общности русской культуры с теми аспектами европейского прошлого», которые можно обнаружить в таких областях, как «христианство (в католической или византийской формах) и германское наследие, общее и для восточных славян (через Русь эпохи викингов) и для большей части Западной Европы»²⁰.

В то же время, было бы нелепым отрицать тот факт, что различные страны Европы развивались не одинаково и не одинаковыми темпами, однако эта неравномерность проявлялась, главным образом, в сфере развития технологий, знаний, институтов. Для понимания феномена европейского единства и его многообразия очень продуктивно, на наш взгляд, объяснение польского социолога Петра Штомпки, изложенное им в рамках сформулированного культурно-цивилизационного подхода к анализу посткоммунистического тран-

зита²¹. Толчком к созданию концептуальной схемы послужило убеждение П. Штомпки в том, что посткоммунистический транзит не является уникальным, а, напротив, по ряду своих аспектов и измерений лежит в ряду аналогичных примеров «поворотов» в истории. Само понятие «культурно-цивилизационный» уже делит предметную область «социальных фактов» («коллективных представлений», по выражению Э. Дюркгейма) на культурный и цивилизационный уровни. Под «культурой» Штомпка подразумевает социально упорядоченные системы значений, символов, ритуалов, кодов, существующих на уровне социального подсознания, формирующих и регулирующих человеческое мышление (люди редко их осознают, поскольку считают само собой разумеющимся). Что касается цивилизационного уровня, то под ним ученый понимает разделяемый обществом универсум объектов, технологий, знаний, верований, ценностей, норм, институтов. В отличие от составляющих культурный уровень, компоненты цивилизационного уровня сознательно (хотя и с различной степенью) учитываются акторами, признаются и принимаются как инструменты в достижении целей или удовлетворения собственных потребностей. В подобном контексте культура представляет собой наиболее значимый, глубокий, невидимый слой, а цивилизация — более поверхностную, видимую, социально сформированную среду человека.

Если принять культурно-цивилизационный подход Штомпки в качестве рабочего инструментария для анализа феномена европейских инноваций в российской истории, то окажется, что культурное единство Европы (включавшее Россию) с определенного рубежа совпало с цивилизационным диссонансом: ряд европейских государств под влиянием совокупности причин совершили технологический рывок, запустив механизм мирового модернизационного процесса. Будем ли мы усматривать в качестве первоначальной причины модернизаций технологические прорывы в военном деле в духе детерминистской теории военной революции²², отдавать ли приоритет представлениям о глобальных сдвигах в сфере торговли и обмена (торговая революция, революция цен) и формировании капиталистического хозяйства (классическая политэкономия, марксистская политэкономия и немарксистские учения о капитализме, научные исторические школы, испытывавшие влияние марксизма, включая мир-системный анализ И. Валлерстайна) или считать их основой ранние инновации в политических системах в духе Ч. Блэка²³, неизменным остается одно: в определенный период (пиком которого принято считать конец XV—XVII в.) несколько стран Западной и Северной Европы (Голландия, Швеция, Англия, Франция) оказались в более сильной позиции по отношению к другим государствам субконтинента, благодаря внутренним качественным институциональным трансформациям.

Стремление их соседей сохранить свой суверенитет, выдержать конкурентную борьбу, отстоять лидирующие позиции вынуждали к импорту инноваций. Глобализацию модернизационного процесса, которым почти одновременно оказалась охвачена вся Европа, принято считать началом нововременной, современной эпохи в истории человечества — началом конструирования новой системы международных отношений с выраженным ядром (страны первоначальной эндоген-

ной модернизацией) и периферией (страны преимущественно экзогенной модернизации, в том числе и Россия). Сложившаяся в Европе система со временем распространила свою экспансию за пределы Старого Света и с известными изменениями продолжает существовать по сей день, хотя и демонстрирует в последнее время явные признаки кризиса.

Считаем возможным настаивать на том, что в этом смысле Россия оказалась в ситуации аналогичного выбора — усвоения инноваций или автаркии и неизбежного проигрыша в конкурентной борьбе. Речь, таким образом, шла не о «европеизации» России (как нелепо, говорить, например, о «европеизации» Испании или Речи Посполитой), а о ее модернизации в форме вестернизации — трансформации России из традиционной средневековой европейской страны в европейскую нововременную державу. В этом, как нам представляется, и заключался парадокс внешнего и внутреннего восприятия России как неевропейской страны: она перестала восприниматься европейской в нововременном смысле. Образ России как варварской и отсталой, усиленный политическими мотивами и цивилизационным (в понимании Штомпки) несоответствием с новым европейским «нормативом», определявшимся странами европейского современного ядра, приобрел стереотипный характер. Отныне принадлежать к европейскому миру только на основании включенности в *orbis Christiani* было совершенно недостаточно (вспомним, что в сочинениях некоторых западных авторов о России XVI—XVII вв. ставилась под сомнение сама принадлежность Московского царства к христианству).

Конечно, московские монархи, впрочем, как и их *vis-à-vis* на Западе, не мыслили категориями модернизации, инновации, диффузии и трансфера. Занятые напряженными делами по мобилизации имевшихся у них ресурсов, сохранением и укреплению власти, расширением жизненного пространства и сфер влияния они выстраивали свою политику, исходя из сугубо практических соображений. Именно последними питались те преобразования или реформы, которые определили характер переходного периода от Средневековья к Новому времени, называемого нами сегодня началом модернизационного процесса. Примечательно, что и на Западе, и на Востоке Европы, в странах как «эндогенной», так и «экзогенной» модернизации, отношение к самим преобразованиям было приблизительно одинаковым, что лишний раз подчеркивает культурное единство «большой» Европы, сохраняемое даже в эпоху исторического транзита. Речь идет о том, что на начальном этапе формирования модернистских институтов, «и на западе, и на востоке Европы новизна представлялась не благом, а скорее злом», «сфера политики не была отделена от религии и морали», а необходимые нововведения маскировались под исправлением отдельных нарушений завещанных предками порядков. Только к XVIII в. окончательно сформировалось «связанное с распространившейся в это время идеей прогресса представление о реформе как об улучшении, движении вперед»²⁴.

Поразительная синхронность (в масштабах исторического измерения) начала реформ и схожесть отношения к ним лишний раз доказывают единство культурного развития России и остальных европейских стран. Именно к началу XVIII столетия российская полити-

ческая элита, в первую очередь ее высшие эшелоны, начинают декларативный отказ от «московской старины», демонстрируя на новом уровне свое стремление к равноправному участию в общеевропейском «концерте», что укрепляет стереотип о варварстве прежней России и порождает (опять-таки в общеевропейском формате) миф о Петре — творце новой европейской России²⁵. Понятие европейскости, которое в терминологии русского языка первой половины XVIII в. определялось словами «людскость», «политичность», «цивилизованность», стало новым маркером, определявшим принадлежность России к европейской цивилизации²⁶. Во второй половине XVIII в. в политической лексиконе российской элиты получает распространение собственно термин «европейский»²⁷, а сама Россия, выведенная «из небытия» идеальным монархом-реформатором Петром Великим на путь цивилизации, становится европейской и в глазах образованной публики Запада²⁸. Подобное восприятие России на Западе, вероятно, становилось аксиомой в результате Заграничных походов русской армии и, особенно, ее пребывания во главе с Александром I в Париже в 1814 г., хотя вовсе не исключало в ситуациях обострения международной политической конъюнктуры реанимацию и обновление старого мифа о варварской, деспотичной и опасной для цивилизованной Европы северной державы.

Перенос западных инноваций в Россию был процессом различной интенсивности и различного качества, менявшихся в зависимости от конкретно-исторической ситуации. Самым первым по времени появления и наиболее устойчивым на протяжении многовекового периода оставался трансфер технологий. Собственно говоря, именно он повлек за собой все остальные и проявился задолго до изучаемого нами «имперского» периода. Начавшись едва ли не в XVI в., он был нацелен (как и в ряде других стран) на укрепление обороноспособности Московского государства и повышение его конкурентоспособности в вооруженных конфликтах с ближайшими западными соседями: Польско-Литовским государством и Швецией. В этом смысле можно вести речь о военной революции как исходном факторе модернизационного процесса в России. В XVII в. масштабы войн и определение внешнеполитического вектора Московской монархии как преимущественно западного (борьба с Крымским ханством и Османской империей были системно связаны с западным направлением внешней политики Москвы), неизбежно расширили круг технологических заимствований в сфере производства (необходимость организации собственного выпуска вооружений, обмундирования войск), финансов (создание собственной сырьевой и производственной базы для денежной эмиссии), управления (в военной и, отчасти, в гражданской сферах), образования и специальной (профессиональной) подготовки. Принимая технологические заимствования как неизбежную необходимость, российская власть и верхушка политической и интеллектуальной элиты неоднозначно, а зачастую с опасением относились к инновациям в сфере образования, культуры и быта²⁹.

Русское правительство и русская церковь в XVII в. находились преимущественно на традиционалистских позициях и не были готовы к принятию новшеств, выходящих за рамки неизбежных технологических изменений. Строго говоря, для этого не было большой внут-

ренней потребности: если бы страна просто географически отстояла от остальной Европы и не была столь глубоко втянута в военно-политические конфликты на востоке европейского субконтинента, она могла бы еще длительное время обходиться без осуществления модернизационного проекта. К началу XVIII в. объективные (Северная война) и субъективные (пристрастия монарха и наличие вестернизированного элемента в рядах высшей интеллектуальной и политической элиты, появившегося в предыдущий период) обстоятельства интенсифицировали, радикализировали и сделали целенаправленной потребность в широком спектре западных инноваций. Постепенно стал проявлять себя процесс восприятия политических, управленческих, экономических, культурных и бытовых инноваций. Именно инноваций, хотя некоторые новшества, от попыток устройства коллегиального управления до внедрения употребления табака и кофе, обладали отложенным эффектом и не приводили, на первых порах, к качественному изменению жизни даже на узких направлениях.

К концу XVIII в. русские элиты вполне освоили новые политические идеи, систему образования, публичные коммуникационные (самой яркой из которых, вероятно, следует считать распространение периодической печати) и культурные практики (театр, салонная культура, общественные организации, переводная и оригинальная художественная литература, светская живопись и т.п.), моду. Даже те из представителей элит, которые позиционировали себя как сторонники возврата к старине или демонстративно исповедовали охранительные идеи (вроде кн. М.М. Щербатова, адмирала А.С. Шишкова, позднейших славянофилов или монархистов, подобных Л.Н. Тихомирову) были, несомненно, людьми модерна, европейцами в нововременном смысле слова. В течение XIX и в начале XX в. Россия сама становится источником инноваций в сфере политической мысли и администрирования (идеи конституционного устройства постнаполеоновской Франции, принадлежавшие Александру I, реализация судебной реформы 1864 г., инициативы в области нового международного права, принятые на Гаагских конференциях в 1899 и 1907 гг.), науки и техники, литературы, театра и изобразительного искусства.

Исходя из нашего представления о принадлежности России к европейскому континууму, мы предлагаем скорректировать мнение о самом феномене того, что получило название «европейской инновации». Очевидно, что те новшества, которые в ходе модернизационного процесса усваивались национальным опытом и способствовали переходу страны в состояние модерна, было бы правильнее именовать «западными инновациями», а саму российскую модернизацию определять как преимущественно вестернизацию (указывая лишь на направленность переноса нововведений). Экзогенная модернизация не являлась уникальным процессом внутри Европы, частью которой была Россия; страны модернизационного ядра были донорами инноваций для всех остальных частей европейской периферии, и Россию не следует рассматривать каким-то исключением. Представление о модернизации как европеизации уместно, в этом случае, в приложении к действительно неевропейским странам (Турции, Ирану, Японии, Эфиопии и т.п.).

Модернизационный процесс в его конкретно-историческом проявлении — есть процесс исторического перехода (транзита), общую

динамику которого задает сложная система взаимоотношений между традициями и новациями, реализуемая через механизмы социокультурной диффузии. Разумеется, мы не рассматриваем указанные взаимоотношения в духе жесткой бинарной оппозиции, как это было свойственно авторам середины XX века³⁰. Разделяя представления о важности дифференцированного анализа предмодерного состояния модернизирующегося общества, мы солидарны с теми исследователями, которые считают традицию неотъемлемым элементом любой социальной структуры, отмечают способность традиций и новаций к сосуществованию и находят в традиционном инновационный потенциал³¹. Именно поэтому мы считаем продуктивным трактовать взаимодействия традиций и новаций как диффузионные, сложные и многофакторные. Именно механизмам диффузии принадлежит ключевая роль в распространении новаций и их адаптации в обществе, то есть превращения в инновации: укорененные нововведения, приводящие к качественным преобразованиям состояния воспринявшей их среды.

Под механизмами диффузии инноваций можно понимать системы организованных взаимосвязей, осуществляющих проникновение новаций и содействующих их адаптации, внедрению в практику. К их числу допустимо отнести самые разные и сложно взаимодействующие системы, перечень которых едва ли можно определить исчерпывающе: государственно-административный аппарат, законодательство, системы образования, воспитания и медицинского обеспечения, производство, армию, среду проживания, миграцию. Коммерцию, пропаганду, моду, общественные ассоциации и общества.

Частью механизма диффузии инноваций являются пути проникновения нововведений. Их можно разделить (с определенной условностью) на межличностные (непосредственная передача информации от человека к человеку) и предметно опосредованные (новыми объектами, знаковыми и техническими средствами передачи информации и т.д.). Одновременно, каналы распространения инноваций можно типизировать по числу агентов диффузионного процесса (индивидуальные, массовые); по длительности осуществления контактов (длительные, постоянные, краткосрочные, эпизодические); по характеру агентов (официальные лица, частные лица); по реализуемым целям (нацеленность на восприятие нововведений, спонтанность переноса инноваций).

В процессе диффузии инноваций определяющей является роль элит. Элиты одновременно выступают и в качестве инициаторов инновационного процесса, одного из ведущих каналов инноваций, важнейшего элемента механизмов адаптации новаций в реформируемом обществе. Важно, на наш взгляд, понимать при этом, что понятие элит не следует ограничивать только слоем высшей социально-политической элиты, некоего «правлящего класса», сосредоточенного на высших этажах общества. Любое сообщество, какое бы место оно ни занимало в общей структуре социума, обладает своей элитной группой. Исходя из представления о иерархии элит, можно говорить и о элитах среднего уровня, и о элитах низшего порядка; о элитах общенациональных, региональных, локальных. Разумеется, чем ниже по социальной лестнице расположены те или иные элиты, тем более ограничено их влияние на социальную среду и тем меньше они вос-

принимаются как элиты за пределами своего сообщества. Элитарное положение групп или индивидуумов низших слоев общества исчезает при их перемещении в более высокие общественные слои. И наоборот: рядовые выходцы из высших общественных слоев имеют шанс занять элитарное положение в более низких общественных группах. Рискнем назвать такое явление «феноменом Башмачкина» (по фамилии гоголевского героя), или «эффектом титулярного советника». В самом деле, титулярный советник Акакий Акакиевич Башмачкин — фигура самая ничтожная, вызывавшая презрение, пренебрежение и насмешки даже в среде рядовых канцеляристов. Его никак не отнести к представителям элитных слоев общества. Но таковым Башмачкин воспринимался в Петербурге, столице империи, средоточии власти и могущества государства. Вместе с тем, титулярный советник (капитан, по аналогии с армейским ранжированием), совершенно преображается, перемещенный в провинцию. В XVIII — начале XIX в., например, это фигура уездного масштаба. Капитанский чин позволял (особенно с 1730—1740-х гг.) претендовать на воеводскую и сопоставимые с ней должности. И вряд ли кому-либо из провинциальных обывателей пришло бы на ум сыпать рваную бумагу на голову титулярного советника Башмачкина, служи он не жалким копиистом или подканцеляристом в одном из столичных департаментов, а воеводой или капитаном-исправником где-нибудь в Пошехонском уезде. Смеем предположить, что и характер, и поведение Башмачкина в таком случае были бы совершенно другими.

Элиты низших порядков служат медиаторами, проводниками, инструментами адаптации новшеств в незлитных слоях общества. Чем выше консолидация настроений, позиций и деятельности элит внутри элитарной общественной иерархии, тем успешнее происходит преобразование общества в целом (вне зависимости от темпов, интенсивности и направленности его трансформаций). Распространение западных инноваций в России начиналось с вестернизации относительно узкого круга высшей, общенациональной элиты, первоначально ограниченной, преимущественно, придворным сообществом и командным составом армии (и то не всем). Постепенно, в течение XVIII столетия, вестернизация охватывала все более широкие круги элит разного иерархического статуса. В силу целого комплекса различных обстоятельств, новшества адаптировались к потребностям и практикам различных элитных групп, переставая быть для них новшествами. Если, например, в начале XVIII в. Петру Великому приходилось путем принуждения внедрять образование западного образца в дворянскую среду, то к концу столетия представления о необходимости образования (оставим в стороне вопросы его характера и качества) — норма, причем как в дворянской среде (включая провинцию), так и в среде недворянских элитных групп городского (в первую очередь столичного) населения, купечества, канцелярских служащих.

Если в начале XVIII в. чтение переводной западной литературы, зачастую опосредованной через польские переводы; было уделом узкого круга столичных аристократов, то к концу того же столетия чтение светской литературы, стимулированное развитием периодической печати, стало обыденностью в губернских центрах и сельских дворянских усадьбах. При этом проявил себя интересный феномен:

чем шире и прочнее новация адаптируется в элитной среде, тем менее инновационной она там воспринимается. В этой связи справедливо будет, пожалуй, утверждать, что адаптацию можно считать успешной и завершенной именно тогда, когда отношение к инновации как к нововведению сменяется принятием ее в обществе как элемента традиции. Инновация, ставшая традицией в высшем слое элиты, воспринимается инновацией на следующем, более низком уровне элит, а высшие элиты вырабатывают или импортируют очередные инновации, адаптируя их под свои потребности. Благодаря позиции элит, их осознанной или неосознанной (интуитивной) настроенности на инновационность развития зависят условия, определяющие глубину и распространенность инноваций в обществе в целом. Элиты могут регулировать интенсивность и мощность инновационного процесса, придавать ему осознанно ограниченный характер (всякого рода «революции сверху» и «половинчатые реформы») или настойчиво насаждать, в том числе прибегая к насилию (как в случае с петровской или сталинской модернизациями).

Иерархия элит одновременно намечает предел адаптации инноваций: ряд инноваций на определенном уровне принципиально отторгаются теми или иными элитными группами — наступает эффект «угасания волны» или эффект «прерывания медиативной цепи» — и новшество отторгается остальными слоями общества, не становясь, таким образом, инновацией для определенной среды и не адаптируясь в принципе. Яркий пример такой ситуации мы можем найти в одном из публицистических очерков Н.С. Лескова «Загон», впервые опубликованном в 1893 г. и основанном на реальных событиях. В нем, в частности, идет речь о том, как управляющий имениями одного из графов Перовских (действие происходит в дореформенной России, в николаевское царствование), англичанин Джеймс Шкот задаясь целью приучить графских крестьян к передовым методам земледелия. Он тщательно изучил европейскую технологию запашки и выписал в порядке эксперимента наиболее удобные, английские легкие пароконные плуги Смайла, которые должны были заменить русские деревянные сохи и тяжелые малороссийские плуги на воловьей тяге. Проведя в присутствии графа сравнительную пробную запашку, Шкот без труда продемонстрировал явные преимущества смайловских плугов перед традиционными. Крестьяне, которые получили возможность испытать новинку, заявили, что плуги хороши. Однако на прямой вопрос графа, предвкушавшего экономические и моральные преимущества от внедрения этой инновации, хорошо ли плужок пашет, «крестьяне ответили: “ Это как твоей милости угодно”. “Знаю я это; но я хочу знать *ваше мнение*: хорошо или нет таким плужком пахать?” Тогда из середины толпы вылез какой-то плешивый старик малороссийской породы и спросил: “Где сими плужками пашут...?” Граф ему рассказал, что пашут “сими плужками” в чужих краях, в Англии, за границую.

— То значит, в німцах?

— Ну, в немцах!

Старик продолжал:

— Это вот, значит, у тех, що у нас хлеб купуют?

— Ну да — пожалуй, у тех.

— То добре!.. А тильки як мы станем сими плужками пахать, то где тогда мы будем себе хлеб покупать?»³²

Граф не знал, что на это ответить. Мужики наотрез отказались принимать «инновацию», история добралась до Петербурга, обретя характер анекдота, и просвещенному Перовскому не оставалось ничего иного, как махнуть на затею рукой, а незадачливого «агента инновации», прогрессивного и честного управляющего Шкота перевести на другое место службы. В этой поучительной истории говорится о не сработавшем механизме диффузии инновации. При наличии необходимых элементов этого механизма: инициаторов нововведения (помещика и управляющего), агента инновации Шкота, канала инновации, опосредованного техническим объектом, не состоялась адаптация, и новшество, не ставшее инновацией, было отторгнуто. Для нас рассказ интересен еще и тем, что он демонстрирует вышеупомянутый эффект «прерывания медиативной цепи» в механизме диффузии инноваций. Ведь с графом полемизировал «плешивый старик»: смысловой акцент сделаем не на слове «плешивый», а на слове «старик». В традиционной крестьянской общине старик — не только возрастная, но и статусная категория. Старики — дворохозяева, полномочные представители сельского «мира», люди, заправлявшие на крестьянском сходе, — та самая низшая элита локальных сообществ, которые, в совокупности, представляли подавляющее большинство населения империи. Ими можно было управлять, подвергать насилию, пренебрегать в целом ряде случаев, не обращать на них внимания, выносить «за скобки прогресса», но в каких-то ситуациях разумнее оставлять в покое.

Надо заметить, что в этой массе в конце концов и гасли инновационные волны. И дело, как представляется, было не в косности профанного большинства, не в его традиционалистской «иррациональности» (о чем любят писать политические антропологи): в замечаниях «плешивого старика» (и в действиях миллионов других подобных «стариков») крылась своя, по-своему рациональная логика, а, одновременно, сдерживающий механизм традиции, той самой «культуры» (в понимании Штомпки), которая никогда не уступала целиком место для новых форм, несмотря на порой безжалостную и жесткую интервенцию инноваций³³.

Особенностью процесса и механизмов адаптации западных инноваций в России, ее модернизации в духе вестернизации было то, что в силу объективных обстоятельств — уникальной обширности территорий, слабости транспортных коммуникаций и товарно-денежной экономики, ограниченности и неравномерного распределения людских ресурсов — к концу XVIII в. сложилась система, которая, по образному выражению Пьера Шоню, может быть охарактеризована системой «двухэтажного государства». Вестернизированного меньшинства, определяемого французским историком приблизительно в два миллиона человек с вынесенными за скобки активной гражданской деятельности 20—30 млн «подданных крупных поместий», оказалось вполне достаточно, чтобы осуществить «ту поверхностную модернизацию, которой восхищалась Европа эпохи Просвещения»³⁴.

Проблема заключалась в том, что дальнейшее развитие при сохранении подобной схемы вело к катастрофе. Модернизации требо-

ваилось расширение числа акторов; это вполне понимали правящие элиты, предлагавшие различные варианты решения этого ребуса. И имперский, и либеральный проекты реализовывались именно в этом направлении (отмена крепостного права, Великие реформы 1860-х гг., развитие земства, стимулирование разложения общины вплоть до планов П.А. Столыпина, реформы политического строя начала XX в. и прочие). Но в силу раскола элит, их взаимонеприятия, формирования контрэлит на крайнем левом и крайнем правом флангах, трудоемкости процессов и дефицита времени ситуацию не удалось удержать под контролем. Проект имперской модернизации закончился крахом и вызвал к жизни гораздо более жесткий модернизационный проект большевиков, оценка методов, форм и динамики которого выходит за рамки нашего исследования.

Примечания

Статья подготовлена в рамках реализации гранта Правительства РФ по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования и научные учреждения государственных академий наук и государственные научные центры РФ (Лаборатория эдиционной археографии, Уральский федеральный университет). Договор № 14.A12.31.0004 от 26.06.2013 г.

1. Материалы для такого анализа концентрируются, в частности, на сетевом ресурсе «Россия и Запад: взаимосвязи и взаимовлияние (IX — начало XX в.)». <http://i.uran.ru/ruswest>.
2. ЕПИШКИН Н.И. Исторический словарь галлицизмов русского языка. М. 2010.
3. НАЗАРЕНКО А.В. Древняя Русь на международных путях: междисциплинарные очерки культурных, торговых и политических связей IX—XII вв. М. 2001; ЕГО ЖЕ. Древняя Русь и славяне (Историко-филологические исследования). В кн.: Древнейшие государства Восточной Европы, 2007 год. М. 2009.
4. МАТУЗОВА В.И., НАЗАРОВА Е.Л. Крестonosцы и Русь. Конец XII в. — 1270 г. М. 2002, с. 219—220 и др.
5. МАЙОРОВ А.В. Первая уния Руси с Римом. — Вопросы истории. 2012, № 4, с. 33—52.
6. ХОРОШКЕВИЧ А.Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV — начала XVI в. М. 1980.
7. ФОРСТЕН Г. Балтийский вопрос в XVI и XVII столетиях (1544—1648). СПб. 1893; ФИЛЮШКИН А.И. Изобретая первую войну России и Европы: Балтийские войны второй половины XVI в. глазами современников и потомков. СПб. 2013.
8. JANNE H. Europe's Cultural Identity. Strasburg. 1981; GROH D. Russland und das Selbstverstandnis Europas. Frankfurt. 1988; WILSON K., DUSSEN J. The History of the Idea of Europe. L. 1995; ШЕНК Ф.Б. Ментальные карты: Конструирование географического пространства в Европе. — Политическая наука. 2001, № 4; Europe and the Other and Europe as the Other. Brussels. 2002.
9. Подробно, с привлечением практически исчерпывающего круга русских и зарубежных источников, процесс исключения России из европейского новременного ментального пространства проанализирован в уже упоминавшемся фундаментальном исследовании А.И. Филюшкина. См.: ФИЛЮШКИН А.И. Ук. соч., с. 291—557.
10. ГЕРБЕРШТЕЙН С. Записки о Московии. М. 2008.
11. SURIUS L. Histoire ou commentaire des choses mémorables avenues depuis 70 ans en ça par toutes les parties du monde, trad française. Paris. 1571, p. 21—22.
12. ФИЛЮШКИН А.И. Ук. соч., с. 410—481.
13. ПОЕ М. «Russian despotism»: The Origins and Dissemination of an Early Modern Commonplace. Berkley. 1993. Сходные механизмы формирования стереотипных

- образов и новые акценты в восприятии Восточной Европы, в том числе и России в XVIII в., см.: ВУЛЬФ Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М. 2003.
14. ТРУБЕЦКОЙ Н.С. О Туранском элементе в русской культуре. В кн.: Евразийский временник. Берлин. 1923, кн. 4; ШАХМАТОВ М. Подвиг власти. Там же, кн. 3; САВИЦКИЙ П.Н. Степь и оседлость. В кн.: Россия между Европой и Азией: Европейский соблазн. М. 1993.
 15. Трудно, в этой связи, удержаться от цитирования фрагмента одного из наказов (1553 г.), данных русскому гонцу в Литву Н. Сущёву, который, отражая официальную позицию царя, должен был так объяснить покорение Казанского ханства: «...которой бусурманской род из Казани ото многих лет христианскую кровь проливал и государю нашему до его возрасту многу досаду делал, и тот бусурманский род Казанской, Божию милостию, государя нашего саблей померли, и на Казани ныне государь наш своих наместников и воевод учинил, и православною верою христианскою место то бусурманское обновил... И мы о том Богу хвалу воздаем, дай Боже нам и вперед видети, чтоб и иным бусурманским родом христианская кровь отомстилась». Сб. ИРИО. Т. 59. СПб. 1887, с. 372.
 16. PERRIE M. Moscow in 1666. New Jerusalem, Third Rome, Third Apostase. — *Quaestio Rossica*. 2014, № 3, с. 75—85.
 17. ДМИТРИЕВА Р.П. Сказание о князьях Владимирских. М.—Л. 1955; ЕЕ ЖЕ. К истории о великих князьях Владимирских. ТОДРЛ. Т. XVII. М.—Л., 1961; ЕЕ ЖЕ. Сказание о князьях Владимирских. В кн.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 2. Л. 1989; ГОЛЬДБЕРГ А.Л. К истории рассказа о потомках Августа и о дарах Мономаха. ТОДРЛ. Т. XXX. Л. 1976; ЗИМИН А.А. Трудные вопросы методики историкоисследования Древней Руси. В кн.: Историкоисследование: теоретические и методологические проблемы. М. 1969; ЕГО ЖЕ. Основные проблемы реформационно-гуманистического движения в России XIV—XVI вв. В кн.: История, фольклор, искусство славянских народов. М. 1963; ЕГО ЖЕ. Античные мотивы в русской публицистике конца XV в. В кн.: Феодалная Россия во всемирно-историческом процессе. М. 1972; СИРЕНОВ А.В. Степенная книга и русская историческая мысль XVI—XVIII вв. М.—СПб. 2010; ЮРЬЕВ И.Ю. Известие о житии и действиях державствующих великих князей российских. М. 2013.
 18. Например: HENSHALL N. *The Myth of Absolutism: Change and Continuity in Early Modern European Monarchy*. L.—N.Y. 1992; MAJOR J. *From Renaissance Monarchy to Absolute Monarchy: French Kings, Nobles and Estates*. Baltimore—L. 1994.
 19. См., например: HARSTFIELD J. *Freedom, Corruption and Government in Elizabethan England*. L. 1973; KETTERING S. *Patrons, Brokers and Clients in Seventeenth Century France*. N.Y.—Oxford. 1986; PECK L. *Court, Patronage and Corruption in Early Stuart England*. Boston. 1990; PATTERSON C. *Urban Patronage in Early Modern England: Corporate Boroughs, the Landed Elite and the Crown, 1580—1640*. Stanford. 1999.
 20. КОЛЛИМАНН Н.Ш. Соединенные чеством: государство и общество в России раннего нового времени. М. 2001, с. 37, 89—90.
 21. SZTOMPKA P. *Cultural and Civilization Change: The Core of Post-communist Transition*. In: *Social Change and Modernization: Lessons from Eastern Europe*. Berlin—N.Y. 1995.
 22. ROBERTS M. *The Military Revolution, 1560—1660*. In: *Essays in Swedish History*. L. 1967; PARKER G. *The Military Revolution. Military Innovation and Rise of the West, 1500—1800*. Cambridge. 1988; BLACK J. *Military Revolution? Military Change and European Society, 1550—1800*. L. 1991; ПЕНСКОЙ В.В. Великая огнестрельная революция. М. 2010.
 23. BLACK C.E. *The Dynamics of Modernization: A Study in Comparative History*. N.Y. 1975.
 24. Феномен реформ на Западе и Востоке Европы в начале Нового времени (XVI—XVIII вв.): Сб. статей. СПб. 2013, с. 8, 13.
 25. Из новейшей литературы о «петровском мифе» в Европе см., например: МЕЗИН С.А. Взгляд из Европы: французские авторы XVIII века о Петре I. Саратов. 2003; ВАГЕ-МАНС Э. Пётр Великий в Бельгии. СПб. 2007; КРОСС Э. Английский Пётр. Пётр Великий глазами британцев XVII—XX вв. СПб. 2013 (на английском языке книга была издана в Кембридже в 2000 г.).

26. ВУЛЬПИУС Р. К семантике империи в России XVIII века: понятийное поле цивилизации. В кн.: «Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода. Т. II. М. 2012.
27. Достаточно вспомнить, в этой связи, хрестоматийные официальные формулировки: уже цитированную — «Россия есть европейская держава» — и «вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе...» из екатерининского Наказа Уложенной комиссии. ПСЗ, т. 18, № 12949.
28. ВОЛЬТЕР. Из «Истории Российской империи при Петре Великом». Т. 2. М. 1998.
29. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ А.С. История русской общественной мысли и культуры XVII—XVIII вв. М. 1990.
30. SUTTON F.X. Social Theory and Comparative Politics. In: Comparative Politics: A Reader. N.Y. 1963; LEVY M.J. Social Patterns (Structures) and Problems of Modernization. In: MOORE W., COOK R.M. (Ed.). Readings on Social Change. Englewood Cliffs, N.J. 1967.
31. SJOBERG G. Folk and «Feodal» Societies. Political Development and Social Change. N.Y.-L. 1966; REDFIELD R. Peasant Society and Culture. Chicago. 1965; РЕДФИЛД Р. Большая и малая традиция. В кн.: Великий незнакомец: Крестьяне и фермеры в современном мире. М. 1992; EISENSTADT S.N. Tradition, Chage and Modernity. N.Y. 1973.
32. ЛЕСКОВ Н.С. Повести и рассказы. М. 1988, с. 345.
33. APTER D.E. The Politics of Modernization. Chicago-L. 1965, p. 81.
34. ШОНЮ П. Цивилизация классической Европы. Екатеринбург. 2005, с. 40.